

Зоя Криминская

Вторая жизнь
Дмитрия Панина



Зоя Криминская

Вторая жизнь Дмитрия Панина

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40521297

ISBN 9785448582950

Аннотация

Талантливый физик Дмитрий Панин переутомился во время работы над диссертацией и после попытки суицида попал в психиатрическую клинику. После четырех месяцев пребывания в ней он вышел оттуда и начал жизнь с чистого листа. Жена к тому времени, разочаровавшись, разошлась с ним, но друзья и сослуживцы его не забыли и поддержали в трудную минуту.

Содержание

Часть первая. Отец	6
1	6
2	12
3	14
4	17
5	21
6	25
7	29
8	31
9	35
10	37
11	42
12	46
13	51
14	54
15	56
16	59
17	62
18	66
19	70
20	76
21	83
22	87

23	91
24	94
25	96
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Вторая жизнь Дмитрия Панина

Зоя Криминская

© Зоя Криминская, 2019

ISBN 978-5-4485-8295-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая. Отец

Дорогу осилит идущий

1

Дмитрий открыл глаза, чуть приподнял голову и увидел её.

Она стояла у железной ножки кровати, изогнув спину, подняв высоко блестящий черный хвост, и терлась о кровать поисках ласковой руки, которая прошла бы по её блестящей шерстке.

Когда она повернулась, Дима увидел зеленые круглые глаза, белый передничек-слюнявчик на груди.

Кошка заметила, что на нее смотрят, издала звук, похожий на заведенный где-то вдалеке мотор: как понял Дима, она выдавала эти звуки за мурлыканье, и скользящей грациозной походкой путаны, идущей мимо потенциальных клиентов, направилась в сторону его кровати, распушив на своей черной негритянской мордашке ослепительно белые волоски усов и бровей. Кошка исчезла из его поля зрения, но он почувствовал мягкое шерстяное прикосновение к своей руке, пошевелил пальцами, хотел опустить руку и погладить животное, ластившееся к нему, но не смог двинуть ру-

кой.

Панин с трудом оторвал голову от подушки и огляделся: руки и ноги его оказались примотаны к кровати, причём так, что он мог лишь слегка двигать пальцами. Панин перевел глаза на потолок. Потолок был незнакомый, высокий, побеленный, с темным пятном как от пролитого кофе в углу. Приподнявшись повыше и оглядевшись по сторонам, увидел комнату с тремя кроватями, на четвертой лежал он, с двух других на него глядели в две пары глаз мужчины в пижамах и тапочках, третий лежал, отвернувшись к стене.

От совершённого усилия страшно заломило затылок, он застонал и лег обратно на подушку.

Вчерашний день тонул во мраке, и Диме никак не удалось вспомнить, как он сюда попал, почему связан, и странно, непривычно болит голова. Он лежал прикрученный бинтами к никелированной кровати, смотрел то на кошку, которая безнаказанно вспрыгнула ему на грудь, то на склонившегося над ним мужчину и пытался понять, что говорит этот патлатый сосед, незаметно подобранный к кровати и смотрящий на Диму из-за спадающих на глаза косм, как болонка выглядывает из-под давно нестриженной челки.

В голове у Димы стоял белесый, как разбавленное молоко туман, в котором не видно было ни зги, причём таинственным образом полностью исчезли некоторые конкретные слова и понятия: кто он, где находится, и почему именно здесь? В молоке копошились неясные фигуры, слышались

враждебные голоса, что-то мелькало, стучало, гремело, и понять, что же такое происходило вчера, не было никакой возможности.

Дима смотрел на задающего один и тот же вопрос патлатого и с третьего раза разобрал, что тот говорит:

– Нос чешется? У тебя нос чешется?

Как только Дима понял вопрос, тут же почувствовал нестерпимое желание почесать нос и рванулся сделать это, но не поднял руки и на сантиметр, бинты из-за резкого движения больно врезались в кожу.

– Тихо, тихо, – сказал патлатый, наклонился и с превеликой осторожностью, как будто касался хрупкой вазы из тончайшего фарфора, своими заскорузлыми рабочими пальцами, шершавыми и жесткими, почесал Диме нос.

Эту сцену застала медсестра, вошедшая в палату со шприцом, за ней маячили двое здоровых, широкоплечих, белые халаты трещали по швам на их могучих плечах.

– Всё спокойно, – сказала медсестра, и Дима удивился не её появлению в палате со шприцами в руках, а тому, что он так быстро вспомнил это слово, само всплыло в памяти: медсестра.

– Лена, может не нужно, а? – вопросительно-просительно протянул патлатый.

– Кузьмичев, ложитесь, вам нельзя пропускать уколы, и вы это прекрасно знаете, ну-ка давайте ягодицу.

– Да я не то, не про себя – Кузьмичев, продолжая гово-

ритель, укладывался на живот, – я про новенького. Развязали бы его...

– Тебя забыли спросить, что делать... – отрезала Лена, но патлатого поддержал другой, молоденький, с синими глазами, и золотистым хвостиком сзади. Максим, как потом оказалось.

– Он давно очнулся, лежит тихо, не буйный, но может надо человеку в туалет...

– Вот и второй доктор выискался, они всё лучше всех знают, – сказала Лена, но посмотрела на Диму внимательно, наклонилась, заглянула в глаза.

– Сейчас врача позову, пусть он решает...

Она вышла из палаты, а за ней, как привязанные веревочкой к подолу, вышли санитары.

Когда Дима вновь очнулся, был вечер, он лежал не прибинтованный, голова не гудела, а слегка ныла. Он сознавал сейчас, что он – Дмитрий Панин, как всегда, каждый день, пробуждаясь, он знал, кто он и где он, и почему здесь находится.

Сейчас он точно знал первое, предполагал, что лежит в психиатрической больнице, но как он сюда попал, вспомнить не мог. Он побродил по своему недавнему, покрытому густой пеленой непроницаемого тумана прошлому, вспомнил черную кошку, и осторожно, не отрывая головы от подушки, оглядел палату: кошки не было.

Как ни мало заметно было движение его глаз и голо-

вы, кто-то уловил это, и к кровати подошел немолодой, взъерошенный человек. Дима, напрягаясь, вглядывался, потом спросил:

– Это ты чесал мне нос в прошлый раз?

Мужчина, теперь всплыла и его фамилия, Кузьмичев, кивнул, заулыбался и бросил в сторону неясных теней в глубине палаты:

– Гляди-ка, очнулся и даже что-то вспоминать начал.

– Дозы уменьшили, вот и очнулся, – отозвалась одна из теней. Голос был молодой, но хриплый.

– Давно я здесь? – спросил Дима.

– Да ... – Кузьмичев почесал в затылке, вспоминая, – дней пять будет...

– Не, не будет, сегодня четвертый, – опять вмешивался кто-то невидимый.

Дима некоторое время напряженно смотрел в потолок, стараясь вспомнить что-то из того, что происходило четыре дня назад, а не вчера, как он предполагал, не вспомнил ничего, кроме того, что потолок этот он уже видел, и закрыл глаза.

Ему снилась река, крутой глинистый обрыв на противоположной стороне, женские ноги идут по песку, оставляя округлые неглубокие вмятины. Ноги подходят близко, он видит светлые выгоревшие волоски, идущие от щиколотки и выше. Он лежит, уткнувшись носом в песок, не поднимает головы, но знает, кто стоит возле него.

Он предчувствует хороший светлый сон, ощущает мягкость губ, нежность кожи на девичьей шее, но внезапно всё меняется, он на другом, высоком берегу, а Лида по-прежнему стоит там, внизу, на песке, он тянется к ней, ноги скользят по вязкой глине, он беспомощно взмахивает руками, срывается с обрыва и падает. Он падает, падает, никак не может достичь воды, несущей прохладу. Он надеется услышать всплеск от падения тела в воду, но его нет и нет. Падение мучительно, длительно, начинается звон в ушах. Панин начинает стонать и метаться по постели, и просыпается.

2

За окном смеркалось, надвигались сумерки, самое тяжелое время суток для больных. Безумие, прятавшееся от дневного света, от солнца, от каждодневного распорядка – подъем, умывание, завтрак, отдых, обед, уколы, таблетки, затаившееся в углах комнаты, – теперь, на закате дня, выползло, заполняло пространство палаты и начинало свое наступление на людей с последними лучами солнца.

Беспокойство охватывало пребывающих в замкнутых стенах больничной палаты, страх глазел из-под кроватей, выглядывал из серой тени под подоконником, протягивал длинные когтистые руки на гранях сумеречной серости и золотистого круга от маленькой электрической лампочки на потолке.

Кто-то прятался в тумбочке, и за тумбочкой тоже, и разговоры замолкали, каждый оказывался предоставленным самому себе, своему страху, и именно в такую пору, испытывая необъяснимую тревогу, спустя почти две недели после своего первого пробуждения в палате, Дима вдруг отчетливо вспомнил всё то, что привело его сюда.

Вспомнив, он испытал и стыд, и облегчение одновременно, ничего страшного он не совершил, и кровь, алым маревом закрывавшая ему глаза все последние дни, с липучим, тошнотворным, не выветривавшимся из памяти запахом, была его собственная.

Дима открыл глаза, непослушными руками долго теребил пуговицы у рукава рубашки, не попадая пальцами на прохладные пластмассовые кружки, и пока он старался это сделать, он понял, что полное отсутствие координации связано с лекарствами, которые ему колют.

Расстегнув рукав, он осторожно закатал его и увидел на левой руке, чуть ниже локтевого сгиба приклеенный на марлю лейкопластырь, не столько увидел, сколько нащупал.

Обнаруженная на руке рана подтверждала его воспоминания, и он обрадовался и тому, что никому не причинил зла, кроме самого себя, и тому, что память к нему постепенно возвращалась. Когтистое безумие перестало тянуть к нему свои цепкие лапы и на весь вечер спряталось за тумбочку.

3

Виолетта почувствовала Димкино отчуждение после его возвращения из родного города, но в своей самоуверенности неотразимой девушки и богатой невесты не придала этому значения, не почувствовала соперницы, а приписала его обычной вечной рассеянности и патологической застенчивости своего друга. Возможно, она хитрила сама с собой, заведомо считая, что того, что не произнеслось вслух, как бы и не существует, не существует, во всяком случае, в той реальности, в которой пребывала она, Виолетта, со своей любовью к Дмитрию, талантливому парню, которому уготована большая будущность, а вместе с ним и ей, Виолетте.

Не то, чтобы она расчетливо завлекала Диму, как казалось иногда окружающим, просто она не могла бы влюбиться в человека не талантливого, обыкновенного, обойденного богом по части одаренности, и не какой-то там одаренности, а ясно выраженной, физико-математической, конкретной. В кого именно она влюбится, и как будет проживать жизнь, она знала давно, ещё девочкой, читая про великих людей в серии ЖЗЛ и представляя то себя на их месте, то себя в роли жены выдающего человека. Проще говоря, Виолетта была честолюбива, даже тщеславна и этим объяснялся первоначальный её интерес к Диме. Дима, хоть и был из семьи не сделавших карьеру образованных людей, живущих более чем скромно,

сводящих концы с концами, что требовало иногда больших усилий – так разъезжались эти концы, – тем не менее, обладая высокими способностями, имел все шансы пойти далеко, особенно после женитьбы на ней, профессорской дочке.

Но сейчас выдающийся Димка молчал, вел себя странно, а Виола приходила к ним в комнату в общежитии, они делали вместе задания по математике, Димка увлекался задачей, объяснял ей решения, иногда останавливаясь и глядя в пространство отсутствующими глазами, надолго замолкал.

Она знала, что в его мозгу идет наряженная работа, он проделывает сложнейшие преобразования в уме, тогда как она и на бумаге сбивалась, делая это, и мир сложных формул и математических понятий, открытый для него и чуть приоткрытый для неё, вновь сближал их, и, глядя, как близко, почти соприкасаясь, склоняются друг к другу их головы, Валерка, друг и сосед, выходил из комнаты, чтобы не быть третьим лишним.

Но Панин выглядел слишком увлеченным и не пользовался тем, что оставался с девушкой наедине, к большому сожалению девушки. Он думал, решал, и не спешил выбираться из мира абстрактного в мир реальный, а Виолетта смотрела на длинные ресницы Дмитрия, думала о том, что очень хочется дотронуться до них, и теряла суть разговора, но не просила вернуться: Дима страшно не любил повторять. Дни шли за днями, дело у Виолетты с Димой не сдвигалось с мертвой точки, и холодность Димы Каховская приписывала его

застенчивости и увлеченности учебной, а Дима всё сильнее ощущал возбуждение в её присутствии, что заставляло его погружаться в дебри математического анализа, ища в них спасение от проблем.

Вечерами он писал длинные сбивчивые письма Лиде, а по утрам рвал их на мелкие кусочки: смятыми, кидал в мусорную корзину, а на другой день доставал, читал обрывки, и снова бросал в корзину. День шел за днем, и августовская ночь его и Лидиной любви уходила в прошлое.

4

Отшелестел золотой сентябрь, октябрь обнажил деревья, и они стояли в сиротливой неприкаянности под морозящим дождиком, в ноябре дождь сменился мокрым снегом, темное небо нависло над деревьями, над корпусами института и общежитий, давило и без того задавленных учебной студентами, и за это время Дмитрий не отослал Лиде ни одного письма, ни единого, как будто не было того светлого солнечного дня, да и глядя за окно, Диме всё труднее было поверить, что он был.

Дима был виноват перед обеими девушками, но Лида не напоминала о себе, а Виолетта ни о чем не расспрашивала, и постепенно у Дмитрия появлялась уверенность, что всё произошедшее было случайностью, отголосками давнишней детской привязанности его и Лиды, а в конце ноября Дима получил длинное письмо от матери, из которого узнал, что Лида вышла замуж за Анатолия. Свадьба состоялась, как только Анатолия оправдал суд. Его обвиняли в нанесении тяжких телесных, которые он причинил парню, когда тот вдвоем с приятелем приставали к Лиде, пытались затащить её в подъезд.

Парень этот был сынком милицейского чина в городе, и Толе грозило до 6 лет, но дело дошло до Москвы. Приехавший следователь установил, что всё это липа, сотрясения

мозга не было, так как пострадавший разгуливал по улицам, вместо того, чтобы лежать в больнице, и даже был заснят играющим в футбол.

А ребро, которое якобы сломал ему Толя, оказалось сломанным еще два года назад.

Дима был ошеломлен этими новостями: и тем, что Толя, дружок, сидел в тюрьме, и его свадьбой. Его и Лиды.

Вязкое, липкое чувство обиды, ощущение, что его обокрали и обманули, с головой накрыло Диму.

Казавшиеся такими далекими и неважными школьные годы, вновь придвинулись, разрушая его уверенность в себе, и он вспоминал разговор, казавшийся тогда шутливым, а сейчас особенно обидным.

Анатолий, подсмеиваясь, сказал Диме, что Лида его любит, и из них была бы хорошая пара. Теперь выходило, что он, Толя сказал не просто так, а завидовал, и сейчас присвоил ему не принадлежащее, и то, что Дима как бы отказался от Лиды, отказался своим отъездом без прощания и отсутствием писем, роли не играло. Друзья детства предали его, Лида, забыв о том, что было между ними в конце августа, выскочила замуж. И свобода, которую он приобрел с её замужеством, его не радовала, хотя пока он не знал о свадьбе Лидии и Анатолия, он чувствовал себя связанным по рукам и ногам, и сидел, как в глубокой охотничьей яме, вырытой для поимки медведя или лося.

И досиделся, за него было принято решение, и теперь,

оно казалось ему особенно пугающим из-за своей необратимости. Молодая женщина, которую он знал ещё девочкой-школьницей с рыжей челкой, сползающей на глаза, звонким голосом и мальчишеским характером вышла замуж за другого, и этот другой был Димин друг Толя Воронов.

Он вспоминал, как Лида молотила его по спине книжкой за то, что он неправильно ей подсказал, и те удары казались ему теперь нежной лаской по сравнению с тем, который она нанесла ему сейчас.

Тогда Дима подсказал неправильно не из злого умысла, а просто не расслышал толком вопроса учителя, а что сейчас?

Сейчас он чувствовал, что что-то опять не услышал, не понял, не уловил, и возможно, это не друзья совершили предательство, а он сам.

И теперь писать было уже не к кому, да и ни к чему.

Только на выпускном, решившись на один единственный танец, и неуклюже двигаясь под музыку, Дима рассказал Лиде, что был невиновен.

Они долго смеялись над этим запомнившимся обоим происшествием, которое тогда, в детстве казалось важным, и обида глодала сердце, а сейчас в преддверии взрослой жизни оборачивалось лишь маленьким недопониманием.

И в психушке, лежа на кровати, Дима вспоминал лето перед третьим курсом, то последнее лето, когда он был холост, молод, здоров, учился в лучшем Московском ВУЗе, сдал

сессию на повышенную стипендию, потерял девственность, сблизившись с одноклассницей, и мог распоряжаться своим временем и своей жизнью, как ему заблагорассудится.

Тогда он ещё не знал, что это были последние месяцы безмятежного существования, и через полгода обстоятельства, перед лицом которых он окажется бессильным, будут диктовать ему свои условия. Ощущение, что всё в жизни зависит от него самого, от его усилий и старания, растаяло вместе с теплом того лета, ушло навсегда вместе с юностью. И только сейчас у него появилось время, чтобы это осознать.

Толя сразу понял, что с Лидой что-то не так, она была бледна, молчала, отвечала невпопад, и грызла ногти. Она всегда грызла ногти, когда нервничала, и Толя знал это. Он стремился поймать её взгляд, но взгляд всё время куда-то ускользал: Лида смотрела то за окно, то на свои руки с обкусанными ногтями, куда угодно, только не ему в лицо.

– Что случилось? – спросил он.

На долю секунды Лидин взгляд столкнулся с его, и тут же убежал в сторону.

– Ничего, – выдохнула она.

– Да нет, врешь, я вижу, что случилось, и плохое.

– Насчет плохого, – ответила Лида, – это как посмотреть.

– И как смотреть?

Лида не отвечала, сидела, молчала, смотрела на край стола, как будто нашла там какие-то неведомые узоры, а не стертости лака от ладоней и локтей бесчисленных посетителей. Подняла на Анатолия глаза с воспаленными от слез и бессонницы веками.

– Толя, ну что ты привязался? Ну, беременная я, беременная, врач сказала пять недель, на самом деле только четыре может быть.

– От кого?

– И ты ещё спрашиваешь?

– Панин, значит, – сказал Толя, грустно и безнадежно. Ему было больно и завидно, пока он тут сидит, и неизвестно, когда и выйдет, друзья там, на воле, занимаются приятным делом, делают детей.

– А кто ещё?

– И когда свадьба?

– А никогда, похоже.

– Как так? Ты что, хочешь сказать, что Димка тебя бросил? С подарочком?

– Он ничего не знает.

– Так скажи ему.

– Хотела, но не получилось. Я пыталась написать ему, но письмо не вытанцовывалось, я его порвала, отпросилась с работы, и поехала, в Долгопрудный, стояла возле дверей института, надеялась увидеть Панина.

Он шёл в толпе студентов, такой веселый, и девчонка рядом с ним, за руку держит, в глаза заглядывает, и товарищи его рядом, и эта, ну пойми, ты Толя, это его жизнь, совершенно другая, чем моя, и я, получается, хочу его этой жизни лишиться. Зачем ему сейчас дети? Ему ещё 4 года учиться, и девчонка эта будет рядом, а я далеко. Он уехал быстро, не попрощался, значит, ничего ещё для себя не решил, и ещё ни разу не написал. Нет, Толя, я не хочу, чтобы Панин женился на мне из-за ребенка, чтобы потом все говорили, что я его так заловила. Я хочу, чтобы он жить без меня не мог, – тут Лида заплакала, – а не так.

– Ты, Лидка, совсем сумасшедшая. Нет, я этого так не оставлю, я сам ему напишу.

– Не имеешь никакого права, раз я не хочу.

– Как я прав не имею, ты мне невеста или кто?

– Ты прекрасно знаешь, что я твоя невеста только для свиданий.

– А ты знаешь, что мне очень жаль, что ты моя невеста только для свиданий.

– Не говори глупостей, а Катерина?

– А где она, Катерина? Что-то я её, с тех пор, как здесь, ни разу не видел. Так что всё, нет у меня никакой Катерины. Забыли.

– Это я виновата. Если бы тогда ты не ввязался в драку...

– Ага, стоял бы и смотрел, как они к тебе вдвоем липнут, а ты отбиваешься. Да этот подонок ещё и смеется: мол была твоя девушка, а стала наша. Ему всё с рук сходит, раз его папашка высоко сидит. Взяточник чёртов. И ведь весь город знает, что он берет, и никто за руку не только не поймал, но и даже не пытался.

– Тетя Тоня письмо написала, кому-то из своих старых друзей, в Москву. Друзей ещё по партизанскому отряду. Описала, что с нами случилось, – сказала Лида. – Я не хотела говорить, чтобы тебя зря не обнадеживать. Может, это срывается.

– Зря она ввязалась, опасный он человек, лучше бы я отсидел, всё равно за драку много не дают.

– Они написали тяжкие телесные и справка есть, что ребро сломано, и сотрясение мозга.

– Да знаю я.

– И какое сотрясение мозга, если он не упал?

– Лида, да там вообще не может быть сотрясения мозга, так как нет мозгов.

Лиде пора было уходить, она встала, кивком головы согласившись с последними словами Толи.

– Лид, ты подумай хорошенько, – сказал Толя, – ну насчет себя и Панина, а если всё же не хочешь за него выходить, то выходи тогда за меня. Я рад буду.

– Всё же, Ушастик, ты не в себе, – сказала Лида.

– В себе, в себе, ты меня знаешь, подумай. Я тебя прошу.

И уже когда Лида была в дверях, Анатолий крикнул:

– Это мой шанс, я не хочу его упустить. И поверь, никогда ни словом не попрекну. Если бы с кем другим, но с Димкой, нет, я попрекать не буду. Клянусь, не буду.

6

Диму знобило. Он прошел в комнату, оглядывая беспорядок в тусклом свете январского утра. На столе стояла пепельница, с точащими из нее окурками, громады бутылок, салютуя своими открытыми горлышками грандиозности произошедшей здесь пьянки, высились на столе и валялись под ним, на полу лежало, напоминая затаившуюся перед прыжком рысь, скомканное рыжее покрывало, но грязной посуды в комнате не было, её перенесли на кухню, где она горой громоздилась в посудной раковине и вокруг, а белый острый осколок одной из тарелок угрожающе торчал из не задвинутого под мойку мусорного ведра.

Вчера, 31 декабря, их группа по приглашению Виолетты встречала новый год у нее в квартире, пока родители её пребывали на даче.

Услышав стук двери туалета, Дима оглянулся и увидел Валеру, волосы на голове торчком, как всегда, взгляд мутный, лицо отекшее.

Валера растянул непослушные губы в улыбке, подходящей к ситуации как зонтик от дождя в солнечный день, и, как обычно, ответил на вопрос Димки раньше, чем тот его задал.

– Меня, я думаю, просто забыли там, в комнате, на ковре, – объяснил он своё пребывание здесь после того, как вся группа уехала часа три назад.

Дима молчал, и Валера, поскреб в затылке, и чуть заискивающе заглянул в глаза другу.

– Можно я выпью крепкого чая? А то что-то...

Валера задумался, прислушиваясь к организму, чтобы точнее охарактеризовать своего похмельное самочувствие, но так ничего и не придумал.

Не было слов в его лексиконе для исчерпывающей характеристики этого отвратного состояния тошноты, недосыпа и отсутствия ориентации в пространстве и времени.

– Только тихо...

Дима сейчас меньше всего хотел, чтобы проснулась Виолетта: ей пришлось бы встретиться с Валерой и читать на его лице, что он прекрасно понимает, что произошло этой ночью.

Самого Дмитрия вид приятеля, всё понимающего, мало смущал.

С чайника сняли свисток, чтобы он не разбудил шумом Ветку, так звал её Валера, и через десять минут пили чай из красивых позолоченных чашек. Сервиз был привезен из Ирана родителями Виолетты.

– Значит, Ветка добилась своего, округила тебя, – Валера оживился после чая, взгляд стал осмысленнее, улыбка естественнее, речь ровнее: он походил на возрожденное влагой к жизни ещё недавно погибающее от засухи растение.

– Когда свадьба-то?

– Я ещё не знаю, ничего не решил...

Дима был недоволен расспросами друга и старался интонациями дать это понять. Грубить он не умел.

– Теперь тебе ничего решать и не придется, всё сама решит, то, что от тебя требовалось, ты уже сделал...

Дима повел пальцем, разгоняя лужицу на столе в нечто, напоминающее амебу на картинке в школьных учебниках зоологии.

– На самом деле, – тут Дима вздохнул, – у меня есть де-вушка... вернее была.

– Кроме Виолетты?

– Ну да... мы с ней...

И внезапно поддавшись порыву, откровенно рассказал другу о себе и Лиде, об их школьной дружбе, событиях августа, и о Лидином неожиданном замужестве.

– Ну ты даешь... А выглядишь ботаник-ботаником... – Валера смотрел совершенно огорошенным. – Но с Лидой уже всё. Ты ей не писал, она вышла замуж, решила, видимо, что у вас несерьезно, ты связался с Веткой, хода обратно нет.

– Знаешь, я не верю, чтобы Лидка, вот так, сойдясь со мной летом, вдруг через полтора месяца вышла замуж за Анатолия, да ещё расписалась с ним в тюрьме, а меня разлюбила, хотя я у нее первый был.

– Но ты исчез, не писал, ничего определенного не сказал.

– Я должен был в себе разобраться, мы ведь уже тогда с Виолой встречались, только что до постели не добрались. Тогда ещё не добрались, – поправился Дима.

– Может быть, она забеременела, и не захотела рожать без мужа?

– Кто?

– Да Лида твоя...

– Но я бы, в случае чего, ты что думаешь, я бы её в таком случае бросил? И так, с одного раза...

– Дурацкое дело не хитрое, – Валера пригладил волосы на голове. – Но это я так, перебираю варианты. Она ведь могла и не знать, что ты её не бросишь...

И на возражающий жест Димы добавил:

– Ну, или не хотела, чтобы ты женился на ней только ради ребенка.

Дима сидел, обдумывал сказанное. Последнее, учитывая характер Лидии, вполне могло бы быть правдой.

– Я пойду, пожалуй, – Валера отставил чашку, – а то Ветка не очень-то обрадуется, когда меня увидит...

Когда за Валерой захлопнулась входная дверь, Дима всё ещё сидел на кухне, сгорбившись, пальцы в чайной луже, вид отрешенный. На радующегося своей судьбе человека, осчастливленного любовью женщины, он не походил.

На свадьбе Виолетта выглядела невеселой, хотя его друзья из группы знали: она шла к этому почти три года, выбрав из них, из 16 парней одного, и ни разу не усомнившись в своем выборе. Маня Полежаева, вторая девушка из группы, тихая, незаметная, сдававшая сессии как придется, то на отлично, то еле-еле на тройку, в зависимости от того, как ей нравился сам предмет, и к кому удалось попасть на экзамене, Маня, медленно плывущая по течению, лишь изредка слегка подгребая, всегда удивлялась способности Виолы добиваться своего. Везде и во всем. Ветка могла отказаться от четверки на экзамене, чтобы потом, прийти на пересдачу и сдать на отлично, и могла два года обхаживать парня, упорно добиваясь его любви и внимания. Полежаева же твердо знала, что какие отметки ни получишь, Димкой Паниным всё равно не станешь, и заловить такого отрешенного от жизни в свои сети, тоже не велика победа. Маша проще смотрела на жизнь, она не была избалованной профессорской дочкой, привыкшей получать в жизни всё, что хочется, и не считаться с усилиями, которые на это потратишь, так как энергии хоть отбавляй, через край льется.

Маша сидела на Димкиной свадьбе на окраине стола, пила, не пьянея шампанское и думала о том, что ждет в жизни Панина, когда Ветка в нём разочаруется.

Маше на первом курсе нравился Дима Панин, она даже, как потом признавалась, почти три месяца была в него влюблена, но потом, когда он стал явно поддаваться на обхаживание его Виолеттой, сильно разочаровалась, не понимая, как он не видит Веткиной сущности хищницы.

Если бы вдруг Полежаеву спросили, почему, по каким признакам она определила, что Ветка хищница, Мария не смогла бы ничего толково объяснить, была интуиция, а поступков, порочащих соперницу, не было. Коготки у Виолетты тогда были втянуты в лапки, и выглядывали из пушистой шерсти крохотными кончиками загнутых булавок.

А Виолетта во главе стола, рядом с Дмитрием, не выглядела торжествующей победительницей. У нее был токсикоз первых месяцев беременности, окрасивший её и в обычное время бледные щеки в зеленоватый цвет. Бледность лица, темные круги под глазами, рассеянный, углубленный в себя взгляд выдавали её состояние.

Всё происходило по сценарию, который набросал первого числа Валера, когда выступал в роли оракула, мучаясь с похмелья на кухне Виолеттиной квартиры: Ветка узнала, что беременна, сообщила об этом Дмитрию и они незамедлительно подали заявление в загс, и через две недели была назначена регистрация: Ветка притащила справку от врача, и их не заставили ждать положенные два месяца.

Всё же, несмотря на бледный вид и страдальческое выражение лица, в белом шелковом платье до пят с короткой фатой на темных волосах невеста была красива, и Дима, в черном костюме и белой рубашке, в галстук, к концу вечеринки сползшем набок, не сводил со своей молодой жены влюбленных глаз, и неожиданно казался человеком, который знает, что делает и держит бразды правления в своих руках, но это было сиюминутное обманчивое впечатление. В этой красивой молодой паре бразды правления были безраздельно в руках женщины.

По этому поводу не возникало сомнения и у Антонины Васильевны, Димкиной матери, которая пребывала на свадьбе сына несколько растерянная, и пока не очень понимала, нравится ей невестка или нет.

Она изо всех сил старалась склонить себя к мысли, девочка ей нравится, но вот её мамочка, Елизавета Михайловна, новоявленная родственница, казалась Антонине Васильевне представительницей другого, опасного мира, в котором главную роль играли вещи. Она утомительно долго водила сватью по своим трем комнатам, рассказывала, где, когда и что они купили, показывала красивые сервизы (этот для Веточки), дорогие хрустальные вазы, скатерти, комплекты постельного белья нежной расцветки, обращала внимание на люстры из чешского стекла в комнатах и на светильники ручного изготовления – из художественного салона – на кухне и в прихожей. Беспокоилась, как бы сватья что-нибудь не упустила, не разглядела, чтобы оценила, в какую семью берут её сына.

Антонина Васильевна, которая заняла деньги, чтобы сын мог купить невесте золотое кольцо, и у которой в зале, которая много лет служила и спальней сына, висела обыкновенная трехрожковая люстра, купленная в магазине электротоваров за углом, чувствовала себя не в своей тарелке.

«Лучше бы он на Лиде женился», думала Антонина, «по крайней мере, своя, знаешь, что можно от нее ожидать. И этот её скоропалительный брак с Толей... После того, как

она на Димку такими глазами смотрела. Всё странно».

И Антонину Васильевну, которая приехала на свадьбу сына одна, без мужа, он недавно перенес инфаркт, томили недобрые предчувствия.

Ее состояние было замечено супругами Каховскими.

– Антонина недовольна, – сказала Елизавета мужу, – а могла бы прыгать от радости: такая перспектива для её сыночка открывается: квартира в Москве, прописка, женится на единственной дочери, всё им достанется.

– Ну, надеюсь, нескоро достанется, мы с тобой ещё проживем, – пошутил Борис Семенович, не очень разделявший уверенности жены, что сватья должна прыгать от восторга при виде невестки: дочь была норовом в мать, а ему самому крутенько приходилось в жизни, когда его поджаривали с двух сторон жена и дочь, что заставляло его изначально симпатизировать зятю.

Симпатизировать, но не слишком. Достигший многого своим неустанным трудом, умением ладить с начальством и держать хвост по ветру, он с высоты своих достижений слегка презирал людей, которые не умели всего этого и не преуспели в жизни.

Всё в этой семье измерялось высотой социальной ступеньки, на которую удалось подняться, а бескорыстное служение чему бы то ни было, не только не приветствовалось, но считалось чем-то вроде юродства. Дмитрий, смотревший на окружающий реальный мир из своего хрустального, ясного, упо-

рядоченного мира математических теорем, об этом не догадывался, понятие о бескорыстном служении у него отсутствовало напрочь, ибо он не служил, а счастливо жил в мире математических абстракций, и стремился проникнуть в этот мир как можно глубже, стремясь упорядочить с помощью формул некоторые физические явления. Грусть матери он приписывал сожалению, что её маленький мальчик слишком быстро вырос и вот уже и женится. Но он ошибался, Антонине сентиментальность была несвойственна и на душе её кошки скребли оттого, что мальчик её попал в другой, чужой мир, и не осознавал этого.

К Кузьмичеву пришла жена. Маленькая, взъерошенная, похожая на воробья женщина. Заговорил этот воробушек сиплым басом на всю палату, и все обитатели её, хотели они того или нет, слушали последние новости семьи Кузьмичевых.

Оказалось, что она не появлялась, потому что простыла, а может, подцепила где-то грипп и провалялась с температурой, и даже врача на дом вызывала, что сын ушел в рейс, а невестка занимается чёрт знает чем, и внук, и всё в доме только на ней, и что никому нет дела, что она уже не молодая, и ещё работает, и не справляется, и вот даже до непутевого пьяницы-мужа дойти не может, чтобы подкормить его, чтобы он не загнулся тут на казенных больничных харчах в припадке белой горячки. Слова сыпались из нее и камешками начинали кататься по полу, залезать под кровать, запрыгивать в уши, но обитатели палаты проявляли терпение, особенно когда Галина Степановна, так уважительно обращался к ней Кузьмичев, вытащила из объемистого пакета пироги с картошкой и грибами, и с капустой, и отдельно сладкие с яблоками, и штук пятнадцать жареных котлет, и две выделанные селедки, и кефир.

Часть еды она сразу отнесла в холодильник, а пироги положила на стол на тарелку, которую тоже принесла с собой,

и пригласила всех не стесняться.

Кузьмичев оживился, сел за стол, призвал товарищей по несчастью присоединяться, и сначала Вова, потом Максим, и за ними и Дима, глотая слюнки, подсели к столу и съели по пирожку.

Галина Степановна обиделась.

– Я что, плохие пироги пеку, – сказала она, – да если хотите знать, я этим зарабатываю, пеку на заказ, и все в торговле, а вы тут выкамыриваетесь.

Парни взяли ещё по одному, а дальше дело пошло так весело, что не заметили, как размели всё, а опустевшую тарелку Галина Степановна взяла с собой.

– Повезло тебе с женой, – сказал Максим, когда за ней закрылась дверь.

Кузьмичев встал из-за стола, подошел к кровати и лег на нее, лицом к стенке.

– Мне-то с женой повезло, – сказал он глухо. – А вот ей с мужем нет...

Дима два месяца спал плохо, можно сказать, совсем не спал.

Сказывалось перенапряжение мучительных, заполненных работой дней.

Надо было получать результаты на установке, а там, как обычно, то одно не ладилось, то другое, и девушка аспирантка первого года, которую дали Диме в подмогу, а заодно, чтобы она тоже сделала диссертацию, бесконечно путала образцы, неумело их маркировала, и когда месячная работа была испорчена, Дима сорвался и накричал на нее, что было ему совершенно не свойственно. Непривычная к грубости Леночка не смогла пережить, что столь невысокий чин орет на нее и побежала жаловаться высокому начальству, собственному папочке. Она осознавала в глубине души свою оплошность, понимала, что по её личной вине куча усилий пропала даром, видела, что Панина на работе уважали, и знала, что если он пострадает, это принизит её в глазах окружающих. Но обида была глубока и вылилась в жалобу и слезы в папину жилетку.

Леонида вызвали на ковер, на самом деле Пукарев вызвал обоих, но Лёня, зная способность Димы говорить открытым текстом то, что он думает, пошел на всякий случай один. Даже такому демократу, каким хотел казаться Пукарев, не сле-

довало знать, что думает Панин и в каких словах эти мысли выражает: Панин был юноша, выросший в рабочем предместье и мать у него бывшая партизанка, а не стремящаяся к изысканности еврейская мамочка, как у самого Лёни, так что когда вытаскивали Диму из хрустально-логического мира в мир реальный, он в сердцах мог загнуть по-русски, не гнушался простонародной речью. Совершенно неожиданно для окружающих.

Пронин бочком вошел в кабинет, стараясь занять как можно меньше места и кося в сторону, избегая встречаться взглядом с шефом, так как то, что Дмитрий выражал словами, Лёня умел выразить глазами, иногда даже с пугающей его самого ясностью и против собственного желания.

– Очень она бестолковая, – сказал он Пукареву, одновременно усиленно рассматривая угол его письменного стола, – беспечная, хоть и не прогуливает, но толку ноль, вечно всё перепутает, одни неприятности от нее, забрали бы лучше в какой-нибудь тихий отдел.

– У нее папочка так высоко сидит, – сказал Пукарев жестко, – что наш многоуважаемый директор-академик рад был услужить ему и взять девчонку к себе в институт, и поэтому прошу тебя и Диму проявлять терпение, она МИФИ закончила, выдали же ей диплом в подтверждение, что она не совсем дура.

Лёня взял под козырек, иронией скрывая свое отвращение к создавшейся ситуации:

– Есть терпеть!

Повернулся и ушел, зло думая про себя: как её на работу в престижный институт взяли, так она и МИФИ закончила.

Неудача из-за расхлябанности аспирантки совсем сразила Диму, а когда, наконец, ещё через три недели непрерывных трудов были получены новые экспериментальные данные, то оказалось, что они не соответствуют тем, которые должны были быть получены по разработанной Димой теории. Это несовпадение могло быть вызвано как ошибкой в расчетах, так и ошибкой в эксперименте, и Дима и Лёня просто не знали, где искать причину этой чёртовой нестыковки.

Леонид сам взялся за эксперимент, а Дима за вычисления. Аспирантка Леночка, временно отстраненная от дел, пару раз всплакнула, но отцу на непосредственных начальников в этот раз не пожаловалась: во-первых, в случае если их попотрошат (так в лаборатории назывался процесс разноса Пукаревым подчиненных «потрошением»), они вновь поймут, из-за кого и будут относиться к ней совсем плохо, и во-вторых, она не была уверена, что отец не разозлится на нее за ещё одну жалобу и не скажет: – Ты этого хотела? Ты это получила. И теперь не жалуйся.

И Леночка приходила в лабораторию, тихо сидела в уголке, читала недавно купленную книжку об использовании их методов в биологии и терпеливо ждала, когда ей дадут работу, в душе гордясь собственной порядочностью.

Накрашенная, напудренная, удивительно хорошенькая,

добросовестно-старательная и совершенно никчемная в той профессии, которую себе выбрала, она с благоговейным трепетом относилась к окружающим её талантливым людям и прекрасно понимала степень их порядочности и наивности, о чем они даже и не подозревали, не о талантливости, а о наивности. Женитьба любого из них на ней давали им такие преимущества, о которых они даже и во сне не мечтали, впрочем, она понимала, что сны этих людей никак не связаны с теми материальными благами, которые она могла им предоставить, они о них не мечтают, как не мечтает обыкновенный человек вдруг полететь на Луну. Умеют обходиться малым.

Леночка прилепилась к этому чуждому и далекому от её собственного миру, где царила другая, столь непривычная для нее, но привлекательная расценка ценностей, зацепилась когтями, как кошка в тюлевую занавеску, и согнать её с этой занавески не было никакой возможности. Она надеялась провисеть долго и слезть только тогда, когда самой захочется.

Димины же сны не были связаны с Леночкой, тут она верно угадывала.

По ночам ему стали сниться гамильтонианы, псифункции танцевали вокруг него хоровод, а спин-гамильтониан, решенный во втором порядке теории возмущений, являлся к спящему Диме и требовал перепроверки, грохоча по столу лапищами, обозначавшими небольшие возмущения основ-

ной энергии взаимодействия магнитных полей.

Дима был совсем плох, и сам чувствовал, что ему отдохнуть просто необходимо, но оторваться и переключить мозг на что-то другое не мог.

Виолетта предлагала ему на ночь транквилизаторы, и, отказавшись пару раз, Дмитрий всё же начал принимать их каждый вечер.

Дима вернулся с работы поздно, последние полгода это вошло в норму.

Тихо разделся в прихожей, и прошел на кухню. Он не замечал, что старается занимать как можно меньше места, и вести себя возможно тихо, дабы не разбудить чудовище, живущее с ним под одной крышей.

Борщ в кастрюле остыл, но Дима не стал его подогревать, а налил, какой был.

Виолетта показалась в дверях кухни.

В просторной трехкомнатной квартире, в которой они жили втроем, после того, как три года назад её родители купили себе кооперативную квартиру и перебрались туда, в этой квартире с большими комнатами была кухня чуть больше 6 кв м и такая же прихожая, и вот как только Виола зашла в кухню, места там совсем не стало, она заполнила её всю. Впрочем, Виолетта любое помещение при желании могла заполнить, так что начинало казаться: кроме нее других людей тут нет.

– Посмотри, на кого ты стал похож, – атаку жена начала прямо с порога, пренебрегая такими условностями, как приветствие. – Щеки ввалились, глаза лихорадочно блестят, взгляд отсутствующий. Ну сколько можно работать, не щадя себя, и ничего в дом не приносить? Они ведь пользуют-

ся твоей бесхребетностью, держат тебя на коротком поводке, не дают защититься.

– Никто меня не держит, – Дима опустил ложку в тарелку, мертво уставился на бордово-красную жижу с белым кружком неразболтанной сметаны, глаз на жену не поднимал. Он чувствовал, что аппетит у него исчезает, по мере того, как жена раскаляется.

– А, ещё лучше!! Значит, ты сам тянешь с защитой! Не хочешь ни на минуту подумать о семье, сидишь на шее у тестя. Квартиру вот нам оставили, тебе ни о чем не надо думать, только чуть больше денег зарабатывать, а ты и этого не хочешь!

– Подожди ещё немного, я закончу, разберусь вот, и напишу. Мне и самому хочется скорее.

Тут Дима сильно кривил душой, разобраться ему действительно хотелось, а вот засесть за диссертацию нет.

– Посмотри, Валерка твой уже давно кандидат наук

– Не давно, а всего-то год назад защитился...

– А Пронин? А эта бездарь Машка?

– Машка вовсе не бездарь...

– Да если бы я не отстала с Мишкой, я тоже бы уже защитилась. Нашего сына растила.

– Да никто и не сомневается, что ты ещё и защитишься.

– Я-то да, а ты вот...

– Не желаю больше говорить в таком тоне.

Дима резко утопил ложку в борще, брызги взлетели, опу-

стилились на белоснежную скатерть, оставили на ней розовые пятна.

При виде пятен, Виолетта взвилась, как норовистая лошадь после удара хлыстом.

– Что ты себе позволяешь?! Ты эту скатерть не стирал, не гладил...

– Я не требую, чтобы ты это делала, меня вполне устроила бы и клеенка.

– Тебя, да, а меня нет! В этом и заключается разница между тобой и мной. Говорила мне мама...

На этих словах жены терпение Димино лопнуло, он не любил тещу, насколько человек его склада, одержимый своей работой, может кого-то не любить. Даже сейчас, когда теща была за три квартала от них, она незримо присутствовала, следила, чтобы их быт соответствовал их общественному положению. Так она однажды и сказала Диме:

– Быт должен соответствовать общественному статусу семьи.

Еще до того, как жена договорилась, Дима понял: она считает, что статус её семьи выше, чем его, и поэтому, хотя он готов удовлетвориться клеенкой, она стелет скатерть на кухонный стол.

Дима вскочил, оставил тарелку с борщом на столе, прошел мимо дверей спальни в большую проходную комнату, служившую гостиной, лег на диван, отвернулся к стенке, закрыл глаза.

Из детской, смежной с гостиной послышался топот ног, вбежал всклокоченный, ещё не успевший заснуть Миша. Он постоял полминуты, переминаясь с ноги на ногу, шевеля пальцами ног, так как стоять босиком было холодно, увидев, что ничего не происходит, посмотрел на спину отца, вздохнул, сказал, как взрослый:

– Опять ссоритесь. Дайте хоть поспать.

И ушел, дверь за собой закрыл плотно.

Дмитрий стоял на кухонном столе, пытался открыть окно. Он ещё не представлял, зачем, но ему очень хотелось это сделать, спустить усталую голову вниз, посмотреть с высоты на темный мокрый асфальт, на отражения фонарей в лужах, на огни окон, на оранжевую дымку на ночном небе, подсвеченном огнями большого города, он хотел, чтобы дождь капал на его непокрытую голову, он уже ощущал сладость прикосновения к коже головы холодных капель, вой ветра, если полететь вниз, раскинув руки.

Но окно было задвинуто столом, и фрамуга не открывалась, можно было открыть только форточку; Дима открыл и подставил под дождик ладони.

Открылась дверь и вошла Виолетта, ошеломленно остановилась на пороге, с ужасом глядя на грязные ботинки мужа, стоящие на кухонном столе, вместо того, чтобы стоять в передней: Дима забыл их снять. И эти грязные ботинки 43 размера на чистеньком, тщательно протертом кухонном шкафчике поразили её больше, чем пребывание мужа в этих ботинках на столе и его странные попытки открыть окно.

Она закричала:

– Уйди отсюда, – и кинулась к Диме.

Дима смотрел на нее дикими, безумными глазами, и когда она приблизилась, его лицо вдруг исказилось, он спрыгнул

со стола, выхватил из деревянной подставки один из ножей.

Почему-то невозможно было допустить, чтобы это непонятно откуда взявшееся существо с противным голосом дотронулось до него.

Виолетта завизжала, и выскочила из кухни, закрыв за собой дверь.

За ней остался Дима, который уже не помнил, что произошло минуту назад, и с удивлением смотрел на нож, который держал в руках.

Зачем-то же он взял его?

Это был мясной нож, им Виолетта разделявала мясо и никогда не позволяла резать хлеб. Дима оглянулся: куска мяса нигде не было. Он повернулся к окну, смутное желание за-чем-то открыть его вспомнилось, шевельнулось, и пропало вместе с недавно переполнявшим его предвкушением счастливого полета, и одновременно на него надвигалось ощущение опасности: окно не открывалось, за кухонной дверью, ведущей в коридор, затаилось чудовище, так страшно вскрикнувшее, перед тем, как спрятаться. Оно было там, точило когти, и все пути на свободу были у Димы отрезаны. Чувство безысходности загнанного в ловушку зверя охватило Диму, и он взвыл, как зверь.

Паника охватила его перед неизбежной гибелью от чего-то ужасного.

Перед ним блеснуло, он опустил глаза и обнаружил, что блестит стальное лезвие ножа в руке. И тотчас как мол-

ния пронзила его мозг: выход был найден! Выбраться было невозможно, но возможно было умереть раньше, чем чудовище доберется до него. Дима с размаха ударил ножом по своей руке, там где голубели прожилки вен.

Удар был сильный и очень болезненный, такой силы боли Дима не ожидал, выронил нож, и завертелся волчком на месте, заскрежетал зубами, кинулся к крану и сунул кровоточащую руку под струю холодной воды.

Вода пенилась, ярко розовыми каплями стекала по руке в раковину, и боль стала меньше. Дима правой, освободившейся от ножа рукой стал пригоршнями поливать воду себе на голову, приговаривая:

– Дождик, дождик, а я без зонта. Дождик, дождик, а я без зонта.

Звук собственных слов успокаивал, убаюкивал его, от запаха крови кружилась голова, Дима был недалеко от обморока, стоял, прислонившись к стене, как автомат поливал голову водой и повторял одно и то же.

Вокруг него образовалась большая лужа, и раковина была вся в крови, а нож он потерял, уронил куда-то и не видел, где он.

Он сползал по стенке, время остановилось, и медленно наползающий обморок обволакивал его, когда открылись двери, вошли белые люди, он шарахнулся, заслонился руками, с раковов капали на пол вода и кровь, бежать было некуда, можно было только отступить в угол между раковиной и обеден-

ным столом, и Дима, забившись в угол, с ужасом глядел из-под локтя на вошедших.

Голоса звучали заговаривающие, ласковые, но Дима чувствовал в них фальшь и, когда к нему приближались, отстранялся, и, спасаясь, съеживался в комок и приседал. Места для отступления уже не было, он знал, но всё же оглянулся, увидел дверцу шкафа, подумал, что можно за ней спрятаться, открыл, но там рядами стояли кастрюли, блестели их бока, а пока он оглядывался, на него накиннулись, заломили руки, каким-то отвратительным полотенцем перетянули пораненную руку сверху, и сделали укол в другую.

Он вдруг перестал напряженно сопротивляться, тело его обмякло, чувство опасности притупилось: он уже не хотел никуда бежать, а только скорее лечь спать.

– Оставьте меня, оставьте, я устал, – говорил он всё тише и тише, и не слышал успокаивающих ответов, что он теперь-то отдохнет.

Появились какие-то люди в темной одежде, они тоже несли в себе угрозу, угрозу ему, Диме, но первые, белые люди, оказались сильнее, Дима был их добычей, и они затащили его в лифт, спустили до первого этажа, а потом вывели на улицу, прямо под дождь, и он шел и мок под дождем, который к ночи усилился, и руки у него были закручены сзади, бинт, которым перевязали рану на руке, медленно намокал кровью, бросаясь в глаза в слабом свете уличных фонарей темно-бордовым пятном, ему наклонили голову, когда

заталкивали в машину, там была лежанка с натянутым брезентом, в этом его не обманули, можно было отдохнуть. Ди-ма лег и отключился.

Вова во сне кричал. Никакие уколы не помогали, будоражил всю палату. Кузьмичев пытался его разбудить, пересяпая свои бесплодные попытки отчаянным матом, а Максим и Дима сидели вдвоем на одной кровати, поджав коленки к подбородкам. Максима трясло, его синие глаза наливались слезами сочувствия и страха, и Дима изо всех обнимал его, стараясь унять дрожь. Максим был худющий, жалкий, треугольниками торчали лопатки, каждый день ему ставили капельницы, стараясь уменьшить ломку, а по ночам, когда ему удавалось уснуть, его будили вопли Владимира.

Утром Максим, плача, рассказывал Вова, как он всех пугает своими истошными криками:

– Ну что тебе снится? – допытывался он. – Что такое страшное тебе снится, что ты так кричишь?

Вова молчал, укрывшись с головой одеялом, носом к стенке.

Кузьмичев отрывал всклокоченную голову от подушки, прижимал палец ко рту, советуя Максиму помолчать.

Появлялся Виктор, белый халат, легкие залысины, глаза укрыты очками.

Истории болезней под мышкой.

Начинал он всегда с Володи. Только первые три дня после поступления Виктор направлялся сначала к Диминой койке,

а во все последующие дни сразу шел к Вове.

Он садился на стул возле кровати, смотрел на затылок больного, потом в окно, потом оглядывал остальных.

– Было? – кидал он в пространство палаты и все ждали, что ответит Вова.

Если Вова молчал, то встретившись глазами с врачом, кто-то из троих, Дима, Максим или Кузьмичев кивали головой, не произнося ни звука.

Виктор что-то писал в истории, вставал, подходил к окну, смотрел на пыльные кусты за окном.

– Я поменяю лекарство, – говорил он, – я стараюсь, как могу, но ты ведь сам никак мне не помогаешь.

Володя рывком сел на кровать, глаза в красной сетке тяжелых ночей.

– Если бы я мог себе сам помочь, я бы ни одного дня здесь не остался бы. Меня жена боится, ты понимаешь это? Сын в глаза не смотрит.

Он упал на кровать, уставился в потолок, губы его дрожали.

Дима не смотрел на Вову, как не смотрел он в детстве на контуженого соседа, выбегавшего с палкой на улицу и старавшегося избить ею прохожих, и на эпилептика из соседнего подъезда он тоже не смотрел. Отвернулся, когда тот в корчах упал на землю, и девочка, старше Димы, дочка его, с криком мама, мама, бежала к окну.

И Димины мама на крик выбегала, и они вдвоем с его же-

ной держали мужчину, прижимали к грязному серому асфальту, пока он бился, прижимали, чтобы не нанес себе увечье, и Диме мама кричала, чтобы он шел домой, ему здесь не место.

Сейчас он думал, что Кузьмичев, как и он сам, помнит пострадавших от той войны, искалеченных душой, контуженных, опасных для себя и для окружающих, а Максим нет, не помнит, и ему тяжело смотреть, как мучается Владимир. Он не умел убегать, не оборачиваясь, как научились это делать дети военных и послевоенных лет.

Однажды после особенно тяжелой ночи, когда Владимир не только кричал, но и, оттолкнув Кузьмичева, бегал по палате, пришлось вызывать санитаров, и они прибинтовали мучащегося к кровати.

Утром он заговорил. Лежал, спеленатый, как мумия, смотрел в потолок и рассказывал:

– Я вижу всегда один и тот же сон, сон-кошмар. «Жара, степь, трава выжжена солнцем до белости, и вдали холмы, а за холмами горы, фиолетовые, синие, розовые. От гор ко мне идет человек, нет не один, двое идут. Старик и мальчик. Идут и идут, оба в белом, и солнце жжет, и я знаю, они идут меня убивать, и лучше всего убежать. Но я чувствую такой ужас, и ноги как прикованы к земле, и убежать я не могу, а они идут и идут, я один, кругом степь, и я вижу их лица, провалившиеся глазницы, и начинаю стрелять. У меня трясутся руки, и пыль вокруг них от пуль серым облаком стоит. Много пыли. Я стреляю, стреляю, стреляю, а они всё ближе и ближе, и совсем рядом, и я тогда понимаю, что мне не уйти, что это призраки убитых мною людей, и они пришли и заберут меня с собой, и им оружия не нужно, они и так меня заберут, и стрелять по ним бесполезно. И меня отчаяние охватывает, дикий животный ужас, а они вдруг начинают удаляться и манить меня за собой, и я иду за ними, иду и плачу и стре-

ляю, и всё иду и иду, и с каждым шагом мне всё страшней и страшней, но повернуть назад я не могу, я иду напрямиком в ад и знаю это...»

Вова замолчал, отвернул голову носом к стене, затылком к людям, и опять ушел в свое страшное одиночество. И они слышали слова, глухим эхом отражающиеся от стенки:

– Я всегда издалека стрелял, и лиц тех, кого убивал, если я попадал, никогда не видел. И старика этого, и мальчика я просто на базаре встретил, они торговали чем-то, не помню чем. А через два дня был налет авиации, и мне сказали, что там все погибли. Но не я ведь их убил, почему они ко мне ходят? Почему спать не дают? Каждую ночь приходят и пугают.

В то утро никто из их палаты на завтрак не пошел.

Через две недели Вову отправили на консультацию к профессору в больницу имени Кащенко, и он не вернулся. Профессор оставил его у себя в палате.

– Случай тяжелый, – сказал Виктор. – Там у них возможности больше, может, помогут.

И Панин понял, что врач признал свое поражение.

Дима не говорил ничего о Виолетте. В палате от со товарищей по несчастью невозможно было скрыть, что он женат, и так как Дима на прямо поставленный вопрос привык давать такой же прямой однозначный ответ. Отвечать: а твое какое дело – он не умел, да и не рвался научиться. И когда Кузьмичев спросил его, он ответил:

– Да, я женат, восемь лет.

Второй вопрос, который тут же неизбежно возникал, непосредственно следовал за первым, «а где же она» произнесен вслух не был, сопалатники Димины были большие сверхчувствительные люди и понимали, что можно спросить, а что нет. Но и произнесенный вслух вопрос этот возник, повис в воздухе, и раскачивался над Диминой кроватью из стороны в сторону каждый раз, когда к другим приходили жены, матери и даже дети.

Дима же ждал. Он ждал прихода Виолетты и боялся его, готовился, думал, что скажет, как будет смотреть в глаза. Его напрягало постоянное ожидание. Приход жены ставил всё на круги своя, делал его поступок менее безумным, давал возможность что-то решить, не выходя за рамки семьи. Если жена приходит, значит возможны хоть какие-то прежние отношения, ты оказываешься не вычеркнут полностью из прошлой жизни, остается шанс всё уладить, пусть на какой-то

другой основе, пусть даже развод, главное, чтобы она пришла.

Вот этого бесплодного, бесконечного, изнуряющего ожидания измученного задерганного человека, которым осознал себя на тот момент Дима, ожидания прихода к больному мужчине его жены, матери его сына никогда не смог простить Дима Виолетте. Он понимал, что если бы была жива мать...

Впрочем, он иногда думал, что хорошо, что она умерла раньше, чем с ним это приключилось.

Через месяц ожидания он понял, что жена не придет. Никогда.

Можно было, кажется, и самому позвонить, но он был болен, виноват перед женой, плохо помнил, что произошло, и казался себе одноногим калекой, а Виолетта выходила замуж за полноценного человека, и теперь ей и только ей было решать, хочет она жить с ним, таким, каким он оказался, или нет. И её непоявление здесь, в этой больнице, говорило однозначно – не хочет.

Панин смирился, ждать жену перестал, и только когда перестал, дело стало медленно поворачиваться на поправку.

И ему не приходило в голову, что его молчание, отсутствие попыток объяснения и примирения будет воспринято однозначно, как приговор, озвученный тещей:

– Чувствует свою вину и поджал хвост, молчит, думает, что ты побежишь к нему первая. Но ты, я надеюсь, не побе-

жишь?

И Виолетта после некоторого молчания: – нет, мама, не побегу.

И Диме, впрочем, как и Виолетте, пришлось вычеркнуть восемь лет брака из своей жизни, и он первые месяцы, да и потом долгое время, не вспоминал, первые годы брака, как вспоминал детство, отца и мать, школьных друзей. Он не был склонен всё красить в черный цвет и никогда не позволял себе даже с Валерой плохо отозваться о жене, но ради самосохранения, во избежание бесполезных теперь терзаний ему пришлось просто забыть последние восемь лет жизни, зачесть за ошибку, за полный провал. На самом деле, спустя несколько лет, когда он мог вернуться к этому периоду жизни не испытывая боли, он с удивлением обнаружил, что был тогда, в первые пять лет брака, вполне счастливым молодым отцом и мужем, особенно когда они остались втроем в квартире, он, Виолетта и Мишка.

Всё, что было до тех пор, все ссоры, размолвки, взаимонепонимание, всё было ничто, по сравнению с теперешней полной и беспросветной его изоляцией от мира, из которого к нему могла прийти только она, могла прийти и помочь, но не шла.

Жена не пришла в больницу, раз и навсегда отторгнув Диму, вырвав его из своей жизни, и Дима с этим смирился, и казалось ему, зла на жену не держал. Она строила свою жизнь по примеру родителей, единственное исключение она видела в том, что и сама хотела быть кем-то значительным, а не только женой и матерью.

Елизавета Михайловна, честолюбивые замыслы которой никогда не шли дальше мужа с положением, всегда поддерживала дочь, умницу, красавицу и отличницу в её честолюбивых стремлениях.

И всё пошло прахом: муж оказался не тот, не за того человека вышла девочка, дочка, ненаглядная, у которой жизнь должна была бы сложиться ещё лучше, ещё счастливее, чем у матери, которая умницей и отличницей не была и которой крупно повезло: руками и ногами она вцепилась в своего будущего мужа, который тогда только обещал стать тем, кем стал, но она верно угадала, что он далеко пойдёт.

Трагедия дочери, её распадающийся брак вселил силы

в мать, и она, никогда особенно не доверявшая зятю, что бы там ни говорили о нём понимающие люди, полностью подерживала дочь в её стремлении снять с себя обузу неудачного брака. И Дима, представляя, как эти трое, тесть чуть сбоку, но на той же стороне, держат круговую оборону против него, ещё глубже погружался в тоску и апатию и после ночных кошмаров просыпался с ясным сознанием того, что меньше всего на свете он хотел бы, чтобы эти трое воспитывали его сына. Но сын был не только его.

Маленький Мишка, не младенец, до младенца Димку не допускали, а вот в два, три, даже в четыре года, любил отца, кидался к нему, когда тот возвращался с работы, радостно верещал, когда Панин подкидывал до потолка, и Виолета, было же это, было, смотрела на них с улыбкой.

Иногда, когда мать была чересчур строга, Мишка спасался от её гнева, залезал на колени к Димке, сидел, прижавшись, шелковистые волосы щекотали Димкин обросший с утра подбородок.

– Маму надо слушаться, – тихо шептал Дима сыну, не замечая того, что говорит те же слова, которые когда-то говорил ему его отец, и часто, отсидевшись у отца на коленях, и успокоившись, Миша послушно выполнял требования матери: лечь спать, помыть руки или съесть кашу. От последнего иногда удавалось отбиться: Дима считал, что кормить ребенка насильно не следует.

Но время шло, Виолетта разочаровывалась в муже, ждала от него каких-то свершений, которых он совершить пока не мог, между ними начались ссоры.

Вначале Мишка страдал, потом привык, потом взял сторону сильнейшего, а сильнейшей в этой паре, была мать.

В шесть лет Миша хорошо понимал, что если сказала мама, то так оно и будет, а если папа, то неизвестно, и всё больше мальчик обращался к матери, минуя Диму, и в душе его складывался образ слабака отца, который не только его, Мишу защитить не может, но и себя самого.

Дима чувствовал отчуждение сына, но держа оборону против его матери, и работая с утра до ночи, чтобы закончить диссертацию, на чем она настаивала, не мог ничего поделать: сын выбрал сильнейшего, и этот выбор не нравился Диме, казался не достойным с нравственной точки зрения – маленький сын хитрил, подличал, поддерживал мать, потому что ему было так выгодно, а Дима не был героем рассказа Проспера Мериме, и смирялся с кажущейся ему непорядочностью сына, надеясь, что когда вырастет, тогда и разберется.

И это охлаждение друг к другу отца и сына помогло Виолетте в тот момент, когда она решилась на окончательный разрыв, сын не был привязан к отцу, тем проще было с Паниным расстаться.

Но охлаждение это было чисто внешним, и Виолетта неверно оценила как отцовские, так и сыновьи чувства.

Светило солнце сквозь паутину невымытых стекол, на душе было легко и пусто, Дима поднялся с кровати, взял полотенце и направился в умывальную.

В коридоре он остановился перед дверью ординаторской, секунду поколебался, легонько стукнул в дверь и вошел.

Виктор печально разглядывал в маленькое зеркало прыщ у себя на подбородке. Вторжением Дмитрия он был недоволен, но кивнул на стул:

– Садитесь, Дмитрий Степанович.

После того, как Дима сел, над столом повисла пауза. Два человека сидели, разделенные столом. Обстановка выглядела мирно, вполне доверительно, но Дима знал, что под рукой у врача находится кнопка экстренного вызова санитаров, а стекла в ординаторской из небьющегося стекла. В палатах же по старинке были решетки.

– Я совершенно здоров – сказал Дима. – Выпусти меня.

Врач наклонился над столом, его лицо чуть придвинулось к Диминому, выражение хитрой простоватости сползло с него, сейчас это было лицо усталого, не глупого, утомленного своей работой человека. Он тоже перешел на ты.

– Ты хоть представляешь, сколько раз я это слышал? Вот здесь, сидя в этом кресле?

– Думаю, часто, – Дима не отодвинулся, а наоборот, чуть

придвинулся и наклонился к врачу. Теперь они смотрели друг на друга глаза в глаза.

– Возможно, очень часто, – продолжал Дима, стараясь придать голосу как можно больше уверенности, – но ведь это не значит, что иногда это бывает правдой? Больные выздоравливают совсем, или у них наступает период ремиссии, и их выпускают...

– Начитался книжек?

– Начитался... А ты бы на моем месте что делал бы? А Виктор? Не интересовался бы своей болезнью?

Виктор откинулся назад и задумался.

– Понимаешь, тебя давно бы можно было бы выпустить, с суицидом мы долго не держим, но твоя благоверная заявила, что ты угрожал ножом ей и ребенку. Перед тем, как разрезал вены.

– Не вены, а вену, я одну руку поранил, на вторую духу не хватило. Я сейчас точно всё помню, и не помню, что я им ножом угрожал, я помню четко, что хотел сам уйти из жизни, ну устал я на тот момент, устал. Ощущение усталости и нежелания жить было, а вот желания их убить у меня не было. Тем более сына.

– Не было, или ты не помнишь...

Дима молчал, взгляда не отводил, и Виктор, который видел Виолетту один раз в жизни, – и этого раза ему было достаточно, чтобы как рентгеном просветить все её внутренности, окинуть взглядом состоящий из простых геометриче-

ских фигур внутренний мир, пробормотал про себя:

– Зря, может, и не хотел.

Он поежился, вспоминая, как буквально нахрапом, сверкая синими глазами, она вырвала у него диагноз, который он не хотел говорить, потому что течение болезни Дмитрия ставило под вопрос этот самый диагноз, и Виктору хотелось ещё и ещё понаблюдать, но Панина ничего не хотела знать, ответ нужен был ей сию минуту и окончательный, а иначе, сказала она, что вы за врачи, если не можете поставить правильный диагноз за две-то недели. Виктор раздумывал, сказать Дмитрию о её посещении больницы, или не говорить, и решил промолчать.

Когда в день своего появления она вышла из его кабинета, он вышел вслед за ней и видел, что в палату к мужу она не пошла, а направилась к выходу.

– Представляешь, чем я рискую, выпуская тебя раньше положенного срока? И придется пройти комиссию... Ты готов? Отвечать на всякие глупые вопросы, какое сегодня число, и чем девочка отличается от куклы, а самолет от птицы? Отвечать и не заводиться?

– Ты же знаешь, что я отвечу.

– А куда ты пойдешь? С работы тебя уволили или уволят, жена тебя не примет и будет в чем-то права, ей сына надо защищать от твоего маниакально-депрессивного синдрома, и куда ты?

– Я уйду жить в комнату к матери, я там прописан. Ве-

та хотела её разменять, сделать родителям трехкомнатную, но не успела, так что мне есть куда пойти.

– Ну, если она это не сделала, пока ты здесь, хотя если ты там прописан...

Хорошо, жилье есть, а деньги на первое время?

– Займу у друзей, потом устроюсь на работу, отдам. Мне много не надо.

– Ладно, я подумаю, может всё устроится.

Через две недели после этого разговора, в середине июля Дима закрыл дверь своего шестого корпуса, надеясь, что навсегда.

– Ты выходишь отсюда, и тебе кажется, что ты возвращаешься к прежней жизни, но это не так. Как нельзя войти в одну и ту же реку, так и нельзя вернуться к прежней жизни, начав её с той точки, когда она прервалась. Тыходишь в совершенно другую жизнь, в которой у тебя не будет низкооплачиваемой, но интересной работы в научном учреждении так как, по крайней мере в ближайшие годы, она тебе противопоказана. Не будет у тебя и прежней семьи и места жительства, ты по-прежнему Дмитрий Степанович Панин, но это только оболочка, а в реальности, это как в Штатах защита свидетеля: человек начинает жизнь с чистого листа. Правда, там сохраняют семью, зато меняют имя, а у тебя имя сохранено, а семьи нет. Но это не твое и не мое решение. Ты должен быть под наблюдением психиатра, и если ты хочешь, я останусь твоим лечащим врачом, пусть формальности тебя не беспокоят. Будешь приезжать ко мне в поликлинику в Москву, сюда тебе лучше не ходить.

Такую вот речь о своем будущем услышал Дмитрий от Виктора Павловича Воронцова при выписке.

Закончив речь, Виктор достал бутылку, рюмки, плеснул в Димину на четверть пальца, себе налил полную, они чокнулись и выпили.

– Алкоголь тебе противопоказан, – такими словами вме-

сто закуски сопровождал Воронцов выпивку. – Ты вот уходишь, – продолжал он, – а я остаюсь тут с этими алкашами, допившимися до белой горячки. Сам скоро с ними свихнусь.

Виктор вздохнул тоскливо:

– Твой случай был интересный, я не думал, что тебя вытащу, во всяком случае до того состояния, до которого вытащил.

– Я рад, – сказал Дима, и непонятно было, чему собственно рад бывший пациент: тому, что случай у него был интересный или тому, что Виктор его всё-таки вытащил.

– Ну бывай, нас не забывай но и не возвращайся сюда, ни-ни. – С этими словами Виктор обнял Диму.

Дима безучастно ответил на объятия, транквилизаторы делали его заторможенным и слабо эмоциональным, впрочем, врач это понимал.

Панин закрыл дверь кабинета, и медленно пошел по коридору. Кошка, жалобно мяукнув, пошла за ним хвостиком. Она чувствовала расставание и грустила. За время её пребывания в больнице, много теплых ласковых рук исчезали из этого коридора навсегда, а если кто и возвращался, то руки у них были холодными и жесткими.

Дима наклонился, погладил её и пошел дальше, слегка покачивая небольшим полиэтиленовым пакетом, не слишком набитым. В нём лежали все его вещи.

Фрукты, которые ему накануне принес Валера, он оставил в палате. Проводили его там теми же словами, что и Виктор:

никогда сюда больше не возвращаться.

Дима поплевал через плечо, постучал о деревянный косяк двери, и вот он уже в лучах полуденного солнца, щурится, стоя в кружевной тени тополей, окружающих больницу.

Другой мир, в который попал Дмитрий Панин, попал в тот миг, когда стоял и смотрел на игру солнечных лучей на листьях, весь в сегодняшнем дне, в сей минуте, разительно отличался от того, в котором пребывал Дима все последние годы. Трава и там и там была зеленая, снег белый, а небо синее или серое, уж как повезет, но на этом сходство закачивалось. Впрочем, нет, есть хотелось и там и там.

Но там, в первом мире нельзя было стоять под деревьями, смотреть на них и улыбаться, там надо было куда-то бежать, что-то делать и думать, думать, думать. Теперь же, когда думать и думать было запрещено, оказалось, что и спешить-то некуда, и можно стоять и смотреть на солнце, которое, конечно, он видел не в первый раз за четыре месяца пребывания в клинике, но там всё равно приходилось что-то делать, пусть эти деяния состояли только в том, чтобы не забыть вернуться в палату, проглотить таблетки или не пропустить выдачу пищи. А сейчас было новое светлое солнце, солнце свободы и одновременно пустоты и одиночества, и можно было осторожно, короткими шажками, но всё же идти в этот мир, где оно светило, и громыхали машины, толпились пешеходы, стучали вдали колеса электрички, и надо было только найти ключи от квартиры, от маминой квартиры, где он собирался

поселиться и не на первое время, а как он понимал сейчас самого себя и свои возможности, на всю оставшуюся жизнь.

Он вышел за ворота, оглянулся, бросив взгляд на серые бетонные плиты забора, окружавшие больничную территорию, шагнул вперед и сразу увидел Валеру, который припарковал машину прямо у входа. Ключи от квартиры были у него, он взял их вчера у Виолетты вместе с вещами Панина, которые она аккуратно сложила в чемодан.

Нужно было как-то устраиваться в этой новой непонятной жизни. Сейчас, когда в преддверии четвертого десятка у Димы появилась возможность и необходимость (он часто думал, возможность или необходимость заставляет его проводить столь тяжкую и тщательную переоценку жизненных ценностей), и он часами валялся на диване, отрешенный от всего и, казалось, пассивный и равнодушный. Но внутри его непрестанно шла интенсивная внутренняя жизнь, в сущности, всегда ему свойственная, но теперь она была направлена не на решение конкретных научных задач, напряженная работа над которыми в вечной спешке и горячке чуть не довела его до краха, а на вдумчивое скрупулезное разложение окружающего мира на мелкие составные части и затем склеивание этого мира в единое целое, если, конечно, – и Дима это понимал, – его ещё можно было склеить.

Первый вывод, который лежал на самой поверхности и напрашивался сам собой: он, Дмитрий Панин, 30 лет от роду, бесконечно, изумительно инфантилен, и то, что многие молодые люди уже в двадцать лет прекрасно понимают то, в чем он, приблизившись к четвертому десятку жизни, не ориентировался совсем. Оказалось, что для него были удивительной, непостижимой загадкой мотивы действий и поведение людей.

В конце второго, а может быть и третьего дня возлежания на кровати, когда у него остался от Валериных припасов лишь кусок засохшего хлеба и пакетик чая, Дима услышал осторожный стук в дверь.

– Да, – сказал Дима скорее по привычке, чем желая хоть кого-то увидеть. Дверь открылась и на пороге появилась немолодая женщина.

– Дима, – сказала она, сказала так, как будто они хорошо знакомы, – давай я тебе супчику принесу, щец горячих.

Услышав про щи, организм Димы, измученный четырехмесячным пребыванием на скудном больничном пайке, отреагировал обильным выделением слюны. Дима сглотнул её громко и судорожно. Женщина всплеснула руками и исчезла, оставив двери открытыми, а через полминуты вновь показалась на пороге с дымящейся кастрюлей в руках.

Она оглядела стол, покрытый клеенкой, и за отсутствием подставки поставила кастрюлю на сложенную газету. Дима поднялся, сидел, смотрел на женщину, на стол, и уже знал, кто она и как её зовут:

– Полина..., – он запнулся, – Андреевна, кажется?

– Ну, Дима, что-то ты совсем, – сказала Полина Андреевна, и Дима не вспомнил, но понял, что они знакомы нако-ротко.

Женщина улыбнулась, подошла к серванту, радостно сверкающему зеркалами и отраженными в них хрустальными рюмочками, оставленными Виолеттой после смерти све-

крови на привычном месте за ненадобностью, открыла нижний шкафчик и достала оттуда тарелку.

– Нет, – запротестовал Дима, – я один не буду, давайте вместе, и Полина Андреевна послушно достала ещё одну тарелку.

Димкин черствый хлеб они разделили пополам, и дружно схлебали щи, и по добавке налили, хотя Полина Андреевна вторую не доела, и Диме показалась, что и налила она себе только для того, чтобы он схлебал вторую тарелку щей.

– Я сейчас здесь редко бываю, дочка моя второго родила, собралась через пятнадцать лет, вот я там и помогаю, и ночевать иногда остаюсь. Всё это временно, конечно, пока малыш не вырастет, тогда они и сами будут справляться. Я после смерти твоей мамы заходила в комнату, пыль иногда вытирала, у меня ключи есть, Антонина оставила, – и Полина Андреевна положила ключ от квартиры на стол. – Вот, возьми, раз ты здесь, мне они не нужны. Я все цветы к себе забрала, а если ты хочешь, то я обратно их принесу, с цветами как-то уютнее, веселее...

– Нет, цветы не нужно...

Дима молчал, смотрел в стол.

– Вы знаете, что случилось, почему я здесь?

Он поднял голову, заставил себя посмотреть соседке прямо в глаза.

– Догадаться нетрудно, с женой поссорился, жить негде, пришел сюда, я вижу что пришел, а ничего не готовишь, вот

я и принесла шей.

– Да ты не рассказывай ничего, не бери себе душу, – быстро сказала она, раньше, чем Дима успел что-то произнести, – когда всё в душе утрясется, тогда и расскажешь.

Дима молча кивнул, соглашаясь с ней, благодарный, что ничего объяснять не надо.

– Я сегодня у них ночую, – и Дима понял, что у них, это у дочери, – тут недалеко, две автобусные остановки, а завтра я по магазинам пойду, что тебе купить?

– Ничего, ничего не нужно... сказал Дима испуганно, боясь, что она сейчас попросит денег, а у него была только мелочь в кармане.

– Денег мне не надо, – сказала Полина Андреевна, и Дима подумал, что это второй человек в его жизни, который отвечает не на то, что он сказал, а что подумал. Первым был Валера. – Тебе мать ничего не говорила?

И поняв по недоуменному взгляду Димы, что он не понимает, о чем речь, объяснила:

– Антонина мне деньги займы дала, ещё старыми, шестьсот рублей.

Мне срочно нужно было, зять в переплет попал, а вернуть я не успела, она заболела. Я ей смогла только двести рублей принести, а она не взяла.

– На похороны у меня есть, сказала, – а на том свете деньги точно не нужны. Пусть у тебя будут. Если у Димки жизнь разладится, а я боюсь за него, ты ему поможешь, чем смо-

жешь, так долг свой мне и вернешь. А если у Димы всё хорошо будет, то я так этому рада, что деньги тебе дарю.

– Так что, Дима, я перед твоей матерью в долгу и, пока тебе нужна помощь, я буду помогать, и ты не беспокойся, всё, в конце концов, утрясется, у такого-то молодого.

И она легонько погладила лежащую на столе Димину руку, встала, забрала грязные тарелки, и ушла.

Во вторник у Димы в холодильнике стояли пакеты с молоком и кефиром, сыр, колбаса, на столе лежали два батона хлеба, пакет сахарного песка, чай.

Это освобождало Диму от забот о хлебе насущном на несколько дней. Получалось, что мать с того света всё ещё заботилась о нём.

А в четверг утром пришел Валера.

– Валяешься? Из дому выходил хоть раз?

Дима отрицательно помотал головой. Он не был готов к общению с людьми, боялся беспричинной грубости окружающих и своей реакции на эти возможные грубости. Не был уверен, что сможет контролировать себя.

– Так... Боишься?

Дима даже отвечать не стал, не желая говорить об очевидном. В свою очередь спросил друга:

– Почему ты не на работе?

– Потому что сегодня суббота, ты день недели не знаешь, а число знаешь?

Дима напрягся, пытался вспомнить число, удивляясь, что

не четверг, а оказывается, уже суббота.

– Сейчас конец июня...

– Хоть это помнишь...

Взять трудовую книжку в институте оказалось не просто, но возникли совсем не те трудности, которые мерещились ему, пока он валялся в комнате, усиленно разглядывая паутину на потолке.

Он пришел в отдел кадров в середине рабочего дня, чтобы ни с кем из лаборатории не встретиться, зашел в комнату, где сидели, копошились, перебирали бумаги, стучали на машинках целая толпа женщин. Дима совершенно растерялся среди них, стоял как пенек на солнечной полянке, и смотрел в одну точку, пока его не окликнули, не направили к нужному столу, и молодая женщина, как-то по особенному всклокоченная, с прядями выкрашенными в три различных цвета, с загибающимися как когти голубыми лакированными ногтями, по кошачьи царапала листы учетных карточек и, взглядывая на Панина, раза три переспрашивала его фамилию, видимо, беспокоясь, что она изменится за то время, пока она ищет карточку. Для довершения сходства с трехцветной кошкой у нее были светло зеленые глаза. Дима, для которого было характерно не замечать мелкие детали одежды и особенности внешности у других людей, с удивлением обнаруживал, что теперь он хорошо видит особенности окружающего мира, и они такие несущественные, как прическа, ногти и цвет глаз женщины, которую он видит в первый и,

вероятней всего, в последний раз в жизни, кажутся интересными.

Наконец, женщина – трехцветная кошка – вытащила из ящичка картонку и с удивлением уставилась на нее.

– Но я не могу выдать Вам трудовую книжку, – сказала она, – вы ведь не уволены, числитесь в лаборатории.

Дима был удивлен обнаруженным не меньше, чем женщина, которая судя по интонациям и ногтям, являла собой очень царапучее существо, но, глядя на растерянного Диму, она смягчилась, заговорила мягкими успокаивающими интонациями, перешла от возмущенного мяуканья к мурлыканью.

– Вы сейчас идите к начальнику лаборатории, пишите заявление об увольнении, он подпишет и через две недели свободны. А может и задним числом подписать, и тогда Вы с сегодняшнего дня будете свободны.

Дима вздохнул, постоял ещё немного, потоптался, надеясь на чудо, которое разрешило бы его проблемы без общения с начальником лаборатории, но чудо не происходило, и тогда Дима вышел из комнаты и направился к телефону в вестибюле, чтобы позвонить заведующему лабораторией Пукареву.

За годы работы в институте, Дима так и не понял, не был уверен, что заведующий знает его фамилию, в лицо знал, всегда любезно отвечал на приветствие, но разговаривали они за всё время не более трех раз.

Поэтому он, поздоровавшись, сообщил не только свою фамилию, но на всякий случай и должность.

В трубке наступила мгновенная пауза, столь малая, что другой, менее чувствительный человек, в том числе и сам Дима несколько месяцев назад, её бы и не заметил, но сейчас эта пауза сказала ему о многом.

Он напрягся и напоминал зайца, наострившего чуткие уши и готового при малейшей опасности обратиться в бегство.

– Подходите ко мне прямо сейчас, я жду Вас, – сказал Пукарев и повесил трубку раньше, чем Дима успел что-то сказать.

Дима показал вахтеру пропуск и, опустив голову, пряча лицо, быстро, как убегающий от погони преступник, поднялся по лестнице на второй этаж, где располагался кабинет заведующего. На лестнице он встретил всего одного человека, и ему показалось, что тот странно на него смотрит.

Дима поднялся на этаж, зашел за угол и оттуда выглянул проверить, не смотрит ли этот случайно встреченный незнакомый человек ему вслед.

Панин видел затылок спускающегося мужчины и ему казалось, что спускающийся заметил взгляд Димы и успел отвернуться.

Пугаясь собственной тени, трясясь от страха, что может встретить знакомого, что производит странное впечатление на незнакомых, которые потом тарашатся вслед ему, Дима

добрался до двери кабинета Пукарева, осторожно постучал и услышал спокойное:

– Войдите.

Когда он вошел, Пукарев стоял возле книжного шкафа, выискивая какую-то книгу, молча кивнул Диме и указал на стул.

Дима сел, шеф устроился на своем обычном месте, в кресле напротив, сложил руки на стол и Дима заметил, что книгу он так и не взял.

– Я слушаю Вас, – сказал Пукарев.

– Я хочу написать заявление об увольнении по собственному желанию, – очень тихо, с трудом, выдал из себя Дима.

– Вы уверены?

– Уверен в чем?

– Что хотите этого?

– А какие у меня есть ещё варианты?

– Остаться пока. У вас ведь больничный? И инвалидность? Не могли же они не дать вам инвалидность, продержав в больнице 4 месяца?

– Инвалидность снимут, сказали, через две недели и снимут.

– Ну вот видите...

– А диагноз?

– А что диагноз? Люди с вашим диагнозом вполне способны к творчеству в период ремиссии.

Сергей Иванович вздохнул, снял очки, потер переносицу.

– Мы не можем бросаться людьми вашего уровня, – и Дима очень удивился, услышав это, он не представлял себе, что его так высоко оценивают в лаборатории, впрочем, когда он был увлечен работой, его это мало интересовало.

– Понимаете, Дима, сейчас мы можем вас не увольнять, но если вы уйдете, обратной дороги не будет, при всем моем желании я не смогу принять вас обратно, просто место будет занято, понимаете?

Дима, смотрел в пол, молчал, думал, уходить он вдруг расхотел, но и оставаться сил не было, он боялся вернуться в ту обстановку, в которой, как ему казалось, началось всё то, что привело к такому печальному исходу. Он чувствовал, что ему надо сменить не только домашнюю обстановку, которую он уже поменял не своей даже волей, но и вообще всё поменять, может быть даже уехать далеко и надолго.

– Нет, – сказал Дима. – Спасибо, Сергей Иванович, но нет. Я к этому пока не готов, и возможно никогда готов не буду.

– Не зарекайтесь, – Пукарев, посмотрел на Диму, и они некоторое время смотрели друг на друга, в Диминых темных глазах отражался страх и неуверенность, а в светлых Пукаревских сочувствие и ещё что-то, неуловимое, затаенное, – не зарекайтесь, жизнь никогда не идет по прямой, уж поверьте мне, старому человеку.

Дима подумал о том, что проработав восемь лет в лаборатории Пукарева, он очень мало о нём знает.

– Хорошо, я не могу на вас давить в такой ситуации, давайте пишите заявление, можете задним числом, чтобы не работать две недели, и ещё, давайте, я подпишу ваш больничный, сдадите, получите деньги, продержитесь некоторое время. Мы сейчас получаем гроши, и те нерегулярно платят, но всё же это лучше, чем ничего.

– Я не хотел...

Дима начал и смешался

– Не хотели сдавать больничный из-за диагноза? Это уже совсем пустяки. Институт наш огромный, людей много, ученые часто психи, не у одного вас такая петрушка с диагнозами. К тому же эти диагнозы иногда снимают.

Как же, подумал Дима, успокаивай меня. Виктор говорил, что это как приговор, только приговор на время, а диагноз навсегда.

Озвучивать свои мысли Дима не стал, а просто достал из кармана два голубых листика больничного.

Шеф придвинул ему бланк заявления об увольнении и, пока Дима писал, Пукарев внимательно прочитал диагноз, потом вышел из кабинета и вернулся с уже подписанным табельщицей больничным.

Понял, что я боюсь общаться с людьми, думал Дима, дописывая заявление.

На прощание Пукарев пожал Диме руку и сказал, перейдя на ты.

– Я надеюсь всё же, что мы с тобой ещё встретимся, мир

тесен, теснее, чем это принято считать. А по больничному получи прямо сейчас, я позвонил в кассу, они тебя ждут.

С тем они и расстались.

Дима ушел от Пукарева с чувством удивления и благодарности за понимание, он вдруг почувствовал после разговора с ним, что не так всё трагично и безвозвратно оборвалось, как это ему казалось ещё час тому назад. Драму его жизни, оказалась, можно рассматривать, как «петрушку с диагнозами»

На самом деле решение Димы уволиться очень облегчило Пукареву жизнь. Где-то через неделю после того, как Диму увезли в больницу, Пукареву позвонил директор института и спросил:

– Что там у вас за дела в лаборатории, мне поступил сигнал, что вы до того загружали сотрудника работой, что у него произошел нервный срыв.

Пукарев на тот момент был не в курсе произошедшего с Димой и судорожно перебирал в уме своих подчиненных, стараясь понять, у кого из них нервный срыв.

Наверное, у Раисы, подумал он, вчера ей дали перепечатывать отчет и сказали – за два дня, – вот она и психанула, но как директор мог узнать об этом? Да ещё вмешиваться в работу секретарей?

Он пошел выяснять, в чем дело, и выяснил у Лёни Прониной, что Дима Панин не вышел на работу, и когда позвонили жене, то она сказала что-то непонятное про скорую помощь и милицию и сразу бросила трубку, и с той поры на звонки никто не отвечает.

Пукарев, тем не менее, сразу понял, что звонок директора связан с Димой: наверняка тесть Димин позвонил директору и насплетничал. Пукарев, в отличие от Лёни знал, что Дима женат на Каховской.

– А что, – спросил Пукарев у Лёни, – сильно ты нагружал Диму последнее время?

– Да, нет, как обычно. Просто у него не получалось никак связать концы с концами: теория, которую он сам разработал, предсказывала одно, а эксперимент показывал другое.

– А где ошибка?

– Мы вместе совершенствовали прибор, усиливали магнитное поле, нам надо было бóльшую напряженность, и там всё правильно, а вы же сами знаете, у Димы в его выкладках чёрт ногу сломит, да и я всё же не теоретик. Так-то, вообще красиво получалось...

– А почему он уже два года, как закончил аспирантуру, а всё ещё не кандидат, не нарыли ещё на кандидатскую? ведь у него пять статей, кажется?

– Да давно бы мог написать диссертацию, но он хотел, чтобы всё было в ажуре, и эксперимент, и теория, вот и тянул. Кажется, у него в семье нелады были из-за этого, ну из-за того, что он тянет с защитой.

– А вообще, Сергей Иванович, в чем дело? Почему Вы так заинтересовались Паниным?

– А потому, – сердито сказал Сергей Иванович, что пора бы ему выходить на защиту. Пусть придет, когда появится.

Но Дима не появлялся, телефон молчал, директор больше о Панине не спрашивал, но Пукарев о нём помнил, а Леонид не знал, что ему и думать. Пришлось ехать к Панину домой.

Виолетту он застал, вернее, настиг в тот момент, когда она

возвращалась домой от родителей. Встретила Лёню неприветливо, поздоровалась сквозь зубы, рассказала не всю правду, про вызов милиции и попытку суицида промолчала. По её словам выходило, что Дмитрий очень буянил, она вызвала скорую, и его отвезли в областную психиатрическую лечебницу номер 20, расположенную в городе Долгопрудном, где Дима и прописан.

Больше никаких сведений выудить у Виолетты не удалось – и эти достались тяжкими усилиями, и Лёня ушел, крайне подавленный всем услышанным.

После того, как Виолетта вылила на Лёню целые ушаты холодное презрения, косвенным образом, но убедительно давая понять, кого она считает виновником всех несчастий, решимость Лёня посетить Дмитрия в больнице сильно ослабла, если не исчезла совсем. Он не мог знать, что уверенность Виолетты в том, кто виноват в случившемся, является только её личной уверенностью. Он думал, что и Дима считал его кругом виноватым, в конце концов, он являлся фактически Диминым научным руководителем, малым шефом, и он был тем человеком, с которым Дима, пропадая на работе чуть ли не сутками, проводил большую часть времени. Проводил бесплодно, как считала и имела полное на это право Виолетта, и Лёне следовало бы и раньше заметить, что с Паниным что-то не то, взять хотя бы случай с Леной.

Дима никогда, это было очень свойственно ему, не поднимал завесу над своими взаимоотношениями с женой, и из-

за его скрытности Лёня вынужден был считать, что срыв Панина вызван напряженной работой последних месяцев, а никаких разладов с женой у него не было. В глубине души он считал, что должно было быть ещё что-то, что довело уравновешенного парня до буйства, в конце концов, не на работе же с ним случилось несчастье, а дома, в семье.

Но Виолетта в разговоре с ним сумела показать себя женщиной, которая не чувствует за собой ровно никакой вины, и Леониду оставалось одно: признать виновным в произошедшем с Паниным только себя. И он боялся показаться Панину на глаза, боясь усугубить без того плохое, как он понял, самочувствие Димы. Он не сознавал, что Дима не был сейчас способен ни к какому анализу своей или чужой вины в случившемся, да и случившееся не помнил, плавал в густом тумане беспамятства животного, живущего сиюминутными ощущениями. И никому на свете в тот момент было не до него: жена его бросила, друг был занят своими домашними неурядицами, Пронин боялся показаться, чувствуя свою вину. А на скудном питании больницы даже у здорово человека могли начаться глюки с голодухи.

Сейчас, когда бесконечная суета последних пятнадцати лет его жизни неожиданно прервалась, и можно было просто лежать на диване и смотреть в потолок, многое из детства вспоминалось, всплывало на поверхность его замусоренного каждодневной суемой, а позднее замутненного сознания.

Сейчас эта замутненность по мере того, как Виктор уменьшал ему дозы препарата, отступала, горизонты памяти расширялись, и просматривалось многое из того, что казалось навеки похороненным.

Да и не было надобности вытаскивать всё это из памяти, не было до сегодняшнего момента, когда из быстро несущегося потока жизнь его превратилась в тихую заводь, в мелкую речушку, грозящую высохнуть с наступлением жаркого лета, и для того, чтобы вода в этой речке сохранилась, надо было почему-то заново вспомнить всё то, что происходило до его остановки в тихой заводи.

Сначала приходили картинки, цветные, яркие, но беззвучные и неподвижные. Без всяких усилий с его стороны персонажи, населяющие эти картинки, начинали двигаться, и только потом он начинал различать звуки, голоса, шипение масла на сковороде.

Он видел раскрасневшуюся от жара плиты мать, пекущую оладьи, соседку Настю, молодую женщину с девочкой на ру-

ках, сидящую на табуретке: ступни ног женщины закручены вокруг плохо обструганных ножек некрашеной табуретки. Самого себя он не видит, но знает, что сидит напротив Насти на стуле со спинкой и думает о том, сможет ли он закрутить так ноги вокруг ножек стула или нет.

Он пытается это сделать, теряет равновесие и со стуком падает на пол, отчего женщины и девочка на несколько секунд замирают в немом удивлении, а потом девочка, которую зовут Машенька, вдруг начинает громко и горестно плакать, и вместо того, чтобы жалеть и успокаивать его, и помочь подняться, обе женщины кидаются утешать Машу, и пока они это делают, оладьи на сковородке начинают пригорать, мать кидается к плите и бросает лежащему на полу Диме:

– Вставай, я же вижу, что ты не ушибся.

На самом деле Диме больно коленки, но он не жалуется, молча встает и снова садится на стул. А вот на новой картинке они все четверо сидят за столом, пьют чай с оладьями, обмакивая их в Настино варенье, и женщины беседуют между собой так, как разговаривают взрослые при детях, когда считают, что те их не понимают.

Дима и не понимал, и сейчас удивлялся, что вдруг вспомнил этот разговор, так как получалось, что ему было всего три года или чуть больше, судя по Маше, по тому, как она сидела на коленках у мамы, едва достигая головой её подбородка, но потом самостоятельно ела оладьи, причмокивая

и громко провозглашая: Вкусно!

Получалось, что Маше было года два, а он знал, что старше её на год, так что он сидел на стуле в кухне, и вся сцена была из того периода жизни, когда они жили в коммуналке; Дима возил оладушкой по тарелке с вареньем, и слушал рассказ матери, предназначенный для Насти.

– Один из ста, – сказала мама и слова эти упали на его стриженную макушку, а после слов упала и ласкающая ладонь матери.

– Один из ста, не знаю, правда это или нет, но так сказал врач, только один процент был за то, что и ребенок выживет и роженица. Но я, когда решила оставить ребенка, не знала всю правду, не знала, насколько это опасно.

– А знали бы, не решились? – спросила Настя.

Мамина рука замерла, пальцы её перестали ерошить ему волосы, и ему почему-то стало тоскливо и захотелось, чтобы разговор этот, которого он не понимал, но который, он чувствовал, относится к нему, закончился.

– Страшно даже подумать, – сказала мама, и Дима понял, что страх проник в него через кончики пальцев, замерших на его макушке. Он втянул голову в плечи и откинулся в сторону, отстраняясь от маминых рук.

– Ты что, глупыш? – мама наклонилась, удивленно заглянула в глаза. – Всё хорошо! – успокаивающе сказала она ему и повторила для Насти:

– Так страшно, что и думать не хочется.

Вероятность моего благополучного рождения была один процент, и я к тому же мог остаться сиротой, думал Дима, и получалось, что он, пустым мешком сейчас валяющийся на кровати, просто счастливчик, при такой-то статистике, и что бы с ним ни происходило, это жизнь, а могло случиться, что её и не было бы.

– Счастливчик, – сказал он вслух, прислушался, как звучали слова в гулкой тишине пустой квартиры, иронически хмыкнул, спустил с дивана худые бледные ноги, покрытые темными редкими волосами, и в одних трусах направился на кухню. По дороге заглянул в ванную, над раковиной висело большое зеркало, из которого на Диму посмотрело странное, небритое, темноглазое существо, с торчащими скулами, фиолетовыми тенями под запавшими, лихорадочно блестящими глазами.

– Ну что, счастливчик, – сказал он отражению, – не грех бы и побриться, раз ты один из ста.

На кухне Дима нарезал хлеб, достал из холодильника купленную соседкой пачку сливочного масла, намазал масло на хлеб толстым слоем и с неожиданным аппетитом съел.

Вернувшись в комнату, он включил старенький черно-белый телевизор «Рубин» и стал смотреть чемпионат Европы по футболу.

Перед сном он побрился электробритвой и смёл веником паутину из угла.

Полина Андреевна поняла, до какой степени Дмитрий не в себе, когда он с трудом вспомнил её отчество.

В то время, когда Антонина уже не вставала, Дима ночевал у матери две-три ночи в неделю, и они вечерами, втроем сидели у телевизора. Полина пекла блины, угощала соседей и они ели их с Тониным вареньем, сваренным из ягоды с дачи Каховских.

– С барского плеча, – добавляла Тоня, когда сваты её слышать не могли.

В то время болезни матери и её медленного угасания Дима был очень расстроен, взбудоражен, но обращался к Полине по имени-отчеству, без запинки, а тут напрягся, вспоминая.

Полина Андреевна не обиделась, она была умная женщина, и вечером того дня, сидя у дочери, сказала ей:

– Не представляю, какими граблями надо было пройтись по человеку, чтобы привести его в такое неменяемое состояние. Еле меня вспомнил, а бывало, в магазин идет, всегда спросит, не нужно ли чего, чтобы я зря не ходила, не таскала бы сумки на пятый этаж. И двух лет не прошло, как мы не виделись.

Полина Андреевна задумалась, вспоминая, как Дима вздрагивал от любого шума, как медленно, как в кино с за-

медленной съёмкой, надевал куртку, как ходил, озираясь: очевидно было, что он был тяжело болен душевно и страшно одинок.

Она даже не знала, что ей делать, если он не пойдёт работать, а так и будет лежать на диване и смотреть в потолок, и день, и два, и неделю, и месяц.

Но через месяц он стал куда-то выходить, и сказал ей, что устроился на временную работу, на озеленение города. И она думала: а какое озеленение в августе?

Но он проработал и август, и сентябрь и половину октября, а потом стал посменно работать грузчиком в продуктовом магазине. Устроился он далеко от дома, в магазин под клубом «Маяк», и как-то существовал на эти деньги, и начал платить за продукты, которые она ему иногда покупала, понимая, что в очередях стоять он всё ещё не может.

Иногда, впрочем, он и сам что-то приносил, ему в магазине, где он работал, давали без очереди, то колбасу отдельную, то докторскую, и даже кусок мяса.

Дима попросил научить его готовить щи и неплохо с этим справлялся. Взгляд его стал осмысленнее, движения быстрее, походка уверенней.

Прошла осень, и зима.

В середине апреля он, как Полина узнала, по совету врача, отправился пожить в деревню, и вернулся оттуда почти прежним Димой, начал улыбаться и явно тяготиться своей работой грузчиком.

– Ничего не подворачивается более подходящего, а мне уже надоела эта работа. Скучно, – поделился он с Полиной Андреевной своим проблемами.

Полина Андреевна задумалась.

Дмитрий Панин, приезжий в городе Долгопрудном человек, ничего не знал о её прошлом, для него она была пенсионеркой и соседкой матери по квартире.

А когда-то Полина Андреевна была директором одной из школ в городе Долгопрудном и директор пятой школы, Светлана Александровна Ложкина, у нее училась.

И Полина обратилась к Светочке с просьбой:

– Он очень талантливый парень, имеет диплом физтеха, и сын педагога, и надо бы ему помочь. Возможно, Света, ты не только сделаешь доброе дело, но и получишь себе неплохого учителя.

– Сейчас я никак не могу, – сказала Ложкина, но вот с сентября могу попробовать, поставить его для испытаний на один класс.

Теперь Полине Андреевне нужно было, чтобы Дима обратился к Светлане с просьбой принять его на работу. Но сделать это было нелегко.

По мере выздоровления, ещё в больнице, Дмитрий забывал то тяжкое состояние невыносимости продолжения бытия, какое навалилось на него в тот момент, когда он взялся за нож. Прошла и острая ненависть к жене, которой он мучился последние полгода перед приступом, приведшим к столь тяжелым для него последствиям.

После свадьбы, как и предсказывал Валерка, жена прочно заняла капитанский мостик их семейного суденышка, и Дима легко подчинился, тем более, что в семье, в которой он вырос, тоже был матриархат.

Виолетта решила так: она освобождает его от мелочности быта, дает возможность заниматься высокой наукой, и впоследствии такая политика принесет свои плоды: Дима вознесется на вершины олимпа, а вместе с ним и она, причём свою научную карьеру она не предавала забвению и собиралась, когда Мишка подрастет, незамедлительно поступить в аспирантуру, а пока, они жили в семье её родителей, и две женщины вполне справлялись с домашними делами, иногда, правда, Панину приходилось ходить по магазинам, где с каждым годом становились всё пустее прилавки и длиннее очереди, но тут выручал профессор: у них в институте давали довольно приличные продовольственные заказы: хороший кусок говядины, красная рыба, баночка икры, баночка хоро-

ших рыбных консервов, даже такие деликатесы, как крабы в собственном соку.

И руководящему персоналу выдавали такой заказ раз в неделю, и ещё такой же заказ в порядке очереди можно было получить и как обычному преподавателю.

Маловато для такой семьи, но лучше, чем ничего.

Дима отчетливо, как будто сию минуту там присутствовал, видел ножки девочки с кудряшками, в белых носочках, обутое в коричневые сандалии.

Может быть, носочки были и светло-голубые, но обувь точно была коричневая, точно такие же сандалики носил и сам Дима в детстве, а девочку в носочках и сандаликах он видел только в черно-белом изображении на выцветшей фотографии. В жизни он с этой девочкой не встречался, когда он с ней познакомился, она была взрослой замужней женщиной, его родной теткой, младшей сестрой матери.

Сейчас она лежала на траве рядом с матерью, которая на тот момент его матерью ещё не была, а была девушкой Тоней, связной партизанского отряда и старшей сестрой Нади, девочки в сандаликах.

Лежали они в высокой траве на маленькой полянке, окруженной невысокими густыми ивами, младшая, десятилетняя, держалась за руку старшей, и дрожала от страха и сырости, идущей от земли. Дрожь эта усиливалась, когда до них доносился собачий лай.

Лай иногда приближался, начинал слышаться со всех сторон, усиливаться эхом, отраженным от густого ельника, растущего сразу за полянкой, и тогда они замирали, вдавливаясь в землю изо всех сил, и задерживали дыхание, чувствуя,

как потеют от страха их сцепленные руки. Когда лай удалялся, старшая бесшумно гладила младшую по голове, успокоительно шептала в ухо:

– Здесь кругом болото, они прохода не знают, не найдут, главное тихо.

Напуганные, они ещё долго лежали после того, как не стало слышно ни лая собак, ни криков переговаривающихся немцев. Отпыхал закат, наступали сумерки, всё стало серым и призрачным, две фигуры поднялись с земли и осторожно, медленно, начали выбираться с полуостровка среди болот, который соединялся с твердой почвой узкой тропкой, сейчас, в конце мая утопленной в жидкой вязкой трясине почти на полметра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.